

РОКОВЫЕ ГОДЫ

(Из воспоминаний)

5. — ВОЗВРАЩЕНИЕ «ДОМОЙ». — «ЛИЦО» И «ИМЯ» — ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА К МОЕМУ ВОЗВРАЩЕНИЮ. — НОВОЕ ЛИЦО МОСКВЫ. — АПРѢЛЬСКАЯ РАБОТА В ОБЛАСТИ КОНСТИТУЦИИ, АГРАРНАГО И НАЦИОНАЛЬНАГО ВОПРОСОВ.

Годы 1895-1905 были переломными в моей жизненной карьере. С тѣх пор, как меня изгнали из Московскаго университета и выслали в Рязань, мои скитанія не прекращались. Я многое приобрѣл в них, но окончательнаго выбора на будущее не дѣлал. По ту сторону этого промежутка прошла моя университетская карьера; меня окружал тогда дружескій кружок московских историков, так мило описанный Кизеветтером, и болѣе широкій круг моих слушателей и слушательниц. Они пришли меня провожать в мою ссылку на рязанскій вокзал — эпизод, который полиція поставила мнѣ же в вину: В. А. Гольцев на прощальном обѣдѣ пророчески пожелал мнѣ сдѣлаться историком паденія русскаго самодержавія, — не ожидая, что мнѣ придется стать еще и его участником. А пока — в Рязани — я также не выходил за предѣлы вновь приобретеннаго дружескаго круга. Если, в часы досуга от писанія «Очерков» для «Мира Божія», я и расширял круг дѣятельности, то это было лишь в формѣ поѣздок для археологических раскопок в долину Оки и музыкальных упражненій в квартетѣ и в оркестрѣ с рязанскими любителями. При этом, для участія в благотворительном спектаклѣ в Коломнѣ, т. е. за предѣлами Рязанской губерніи, мнѣ пришлось получить спеціальное разрѣшеніе губернатора.

Софія вывела меня на европейскій простор, но не лишила на первое время профессиональнаго характера дѣятельности —

См. «Русскія Записки» — Июль.

ученаго и профессора. Только темы перемѣнились: это была всеобщая исторія в университетѣ, и изученіе конституціи и національнаго вопроса в рамках болгарской дѣйствительности. Короткое интермеццо перваго возвращенія в Россію, редакторство в «Мірѣ Божіемъ», первыя политическія знакомства, включая тюрьму и полицію, уже заставили моих университетских коллег жалѣть о потерѣ меня для науки — и горько обвинять в измѣнѣ. Но измѣны еще не было. Началась она, как я уже описал, в Америкѣ, гдѣ пришлось защищать дѣло русскаго освобожденія в аудиториях и на митингах, а не только в эмигрантской газетѣ. Но то было — для иностранных слушателей и вызвано было желаніем об'яснить настоящее историческим прошлым, пытаюсь угадать будущее. Подробный разсказ об этих годах выходил бы за предѣлы этой части воспоминаній. Когда-нибудь вернусь к нему в будущем.

Теперь, наконец, послѣ десятилѣтій скитаній, я возвращался «домой» в осѣдлую жизнь. «Рубеж столѣтій», растянувшійся для меня равными частями на цѣлые десять лѣтъ по ту и другую сторону перехода, становится рубежом и в моей личной жизни. Я не сразу замѣтил, что это был также и рубеж поколѣній — и что из их ряда для меня выпало цѣлое звено. Я разумѣю то поколѣніе, которое вступило в общественную жизнь как раз во время моего отсутствія, со средины девяностых годов. В новом изданіи «Очерковъ» я начал культурную исторію этого поколѣнія с «манифеста» Д. С. Мережковскаго «О причинах упадка и о новых теченіях современной русской литературы» (1892). С этим поколѣніем, свергавшим «старыя цѣпи» для «новой красоты», мнѣ пришлось встрѣтиться только уже по возвращеніи и постепенно занять по отношенію к нему боевое положеніе, когда оно — уже не в литературѣ, а в политикѣ — перешло от религиозно-философскаго «идеализма» (1902) к Вѣхамъ (1908 г.). Но это было еще впереди.

В 1905 г. я только чувствовал, что, потерявъ репутацію начинающаго историка, с которой уѣхал из Россіи, возвращаюсь в нее с репутаціей начинающаго политическаго дѣятеля, далекаго от новых отвлеченных идеологій. В этой области я и сам чувствовал себя новичком — и втягивался в нее мало-по-малу, не столько слѣдя собственным склонностям, сколько уступая тому, что представлялось мнѣ неотложным требованіем времени. Мѣняя невольнo кабинет на публичную арену, я скоро ощутил и вы-

текавшія отсюда для меня моральныя осложненія. Их, вѣроятно, чувствует каждый, приобретающій нѣкоторую извѣстность на этой стезѣ. *Имя* здѣсь отдѣляется от *лица*: в этом заключается суть переменъ. Независимо от *лица*, имя приобретает свою собственную исторію. В моем случаѣ именно отлучка из Россіи и возвращеніе в самый горячій момент политической борьбы содѣйствовало ускоренію этой переменъ. Я возвращался своего рода новым человѣком, на котораго смотрѣли с любопытством — или с интересом, — ожидая проявленій политическаго лица. От того или другого проявленія зависѣло созданіе той или другой общественной репутаціи. Я, конечно, не думал создавать ее искусственно: она создавалась сама собою, независимо от моей воли и моего желанія. *И. В. Гессен* со свойственной ему наблюдательностью сфотографировал меня в этот момент в своих ме-муарах.

Встрѣтив неизвѣстнаго ему новичка, сидѣвшаго *a parte* среди кружка сотрудников «Русскаго Богатства», собравшихся на именины Мякотина в Сестрорѣцкѣ, куда он был выслан, Гессен завязал с новым гостем живую бесѣду и «ни разу не ощутил непріятнаго холодка, который всегда вызывала предвзятость, партійная предубѣжденность, отметаніе того, чего нѣтъ в коранѣ». Я поразила своего собесѣдника непосредственным интересом и воспримчивостью к новым «впечатлѣніям бытія». Возвращаясь на вокзал, он узнал, что это был не кто другой, как автор «Очерков». Очевидно, для него тогда существовало только мое прежнее «лицо». Но два года спустя он узнал в Милюковѣ «кадета», отшатнулся от «имени» и еще 15 лѣтъ спустя рѣшил окончательно, что «Милюков — не кадет», и что именно моя способность, не будучи кадетом, руководить «кадетизмом» доказывает, что «может быть у него (меня) и нѣтъ подлинных политических убѣжденій, а есть лишь увѣренность, что реальную политику можно вести на том мѣстѣ, на которое поставлены кадеты, что он, Милюков, эту политику может дѣлать, и что без него она велась-бы хуже или вовсе не велась бы». Так *И. В.* хотѣл спасти мое прежнее лицо от моего новаго «имени». Многое тут вѣрно: невѣрен только вывод, что именно мое предполагаемое лицо «наложило на партію своеобразную печать», тогда как происходило обратное: на лицо легла печать политическаго имени. Очевидно, в процессѣ приобретенія извѣстности наступает момент, когда имя окончательно от-

дѣляется от лица, — и лицо заволакивается туманом. Противники начинают «трепать» имя, сторонники — возвеличивать — то и другое, не считаясь с предѣлами дѣйствительности. То же произошло и со мной.

Когда развернулась настоящая политическая акція, один французскій журналист сравнил меня с Руайе Колларом, а тогдашніе «друзья-враги» провидѣли во мнѣ «русскаго Тьера». Талантливый Дорошевич придумал для меня цѣбую кличку «бога безтактности», и, благодаря семьѣ Суворинных, кличка пошла гулять, дожив даже до періода эмиграціи. Как никак, это было первое мое посвященіе в «боги». В дружественных устах дѣло ограничилось провозглашеніем меня «лидером». А кончаю я жизнь — тоже по дружественной оцѣнкѣ — безнадежным кандидатом в «русскіе Масарики». Нѣкоторое удовлетвореніе доставляет мнѣ, когда новые знакомые, послѣ первой встрѣчи, говорят обо мнѣ: «да он совсѣм не такой, каким его изображают». «Имя» здѣсь вновь сливается с лицом, каково бы оно ни было в дѣйствительности. Могу лишь добросовѣстно сказать, что всѣ эти мои аватары, и дружественныя, и враждебныя, не создали во мнѣ ни генеральскаго духа («генералина», как мы выражались в молодости по адресу нашего профессора), ни духа злобы, обиды или мщенія. Впрочем, I. В. Гессен предвидѣл и это в своем послѣднем выводѣ о Милюковѣ: «отсутствіе политической страсти, человекъ без «изюминки»».

Но пора вернуться от этого итога к его слагаемым. Вернувшись в Россію в началѣ апрѣля 1905 года, я сразу очутился в потокѣ событій, который пропосился мимо меня, но в котором и мнѣ было уготовано какое-то мѣсто. Предстояло сдѣлать выбор; но этому должна было предшествовать довольно сложная работа ознакомленія с сильно осложнившимся процессом политическаго борьбы и с новыми людьми, принимавшими в нем участіе и мнѣ, по большей части, неизвѣстными. Я, с своей стороны, возвращался с опредѣленно сложившимся представленіем о внутреннем положеніи Россіи и — с нѣкотораго рода «миссіей». Как видно из сказаннаго ранѣе, я почти утерял надежду на мирный путь необходимаго преобразованія Россіи и сознавал неизбѣжность вмѣшательства революціонных сил для этой цѣли. В то же время я рассчитывал, основываясь на тогдашних моих — неполных — свѣдѣніях о настроеніи революціонных партій, на возможность

дружественной кооперации их с конституционными группами общественного мнѣнія. Это мое настроеніе скорѣе соответствовало болѣе лѣвым взглядам ядра Союза Освобожденія, чѣм психикѣ первоначально сложившейся группы земских конституціоналистов. Однако, среди молодых друзей И. И. Петрункевича, под которыми я разумѣю таких дѣятелей, как Д. И. Шаховской, В. И. Вернадскій, Ф. Ф. Кокочкин, тоже возобладало болѣе лѣвое настроеніе, и я мог рассчитывать тут на полное единомысліе. Другіе из этого кружка, как Струве, Бердяев, Булгаков, Новгородцев, близкіе нам в политикѣ, уже начинали выдѣляться тогда, слѣдуя новому для меня теченію возрождавшагося «идеализма». Враждебно относясь к политическому «формализму» строгих парламентарных форм, на чем стояло старшее поколѣніе, они готовились возстановить почтенную старую формулу: «не учрежденія, а люди»; не «политика», а «мораль». Я рассчитывал, все-таки, на полѣвѣніе всей группы, болѣе мнѣ близкой лично, и, с другой стороны, на поправѣніе социалистических групп, из которых был ближе знаком лишь с настроеніями группы ново-народнической. Темой моей личной политической пропаганды — того, что я назвал своей миссіей, оставалась, таким образом, основная тема моей книги о «Кризисѣ» (см. выше). Круг друзей смотрѣл на это мое заданіе, как на общающуюся успѣх политическую попытку; другіе — вправо и влѣво — пока не противились, с любопытством присматриваясь к новому человѣку среди новых политических обстоятельств. Не могу утверждать, что это мое положеніе представлялось мнѣ тогда с такой отчетливостью, как позднѣе. Во всяком случаѣ, моя собственная политическая линія намѣчалась для меня в этом направленіи, и я слѣдовал ей без какого-либо хитраго, заранѣе составленнаго плана, — как единственно мнѣ понятной и желательной.

Дальнѣйшее выясненіе моего отношенія к различным, образовавшимся в мое отсутствіе, политическим группировкам — и их отношенія ко мнѣ — не замедлило послѣдовать уже потому, что всѣ онѣ принимали активное участіе в бурлившем, кипѣвшем и рвавшемся вперед через всѣ препятствія потокѣ политической и социальной борьбы. Давать подробное описаніе всего содержания в этом потокѣ и всѣх перипетій его нетерпѣливаго напора, конечно, было бы невозможно в рамках этих воспоминаній. Да все это и изложено уже подробно в мемуарах и исторических

описаніях, доступных каждому. Я буду останавливаться лишь на тѣх событіях, настроеніях и лицах, с которыми, в то или другое время, вступал в болѣе близкія соприкосновенія.

Прежде всего, в этом ряду стоял «Союз Освобожденія» включавшій в себѣ круг сотрудников журнала «Освобожденія», с которым я находился в болѣе тѣсной связи. Надо сказать, что с перенесеніем центров движенія в Россію, роль «Освобожденія» вообще слабѣла; доставка журнала в Россію все болѣе запаздывала по мѣрѣ ускоренія хода событій; его направленіе уже опережалось внутри-русскими настроеніями, все болѣе лѣвыми. И отношеніе к журналу становилось болѣе равнодушным, а в нѣкоторых кругах и отрицательным. Союз Освобожденія вносил в журнал Струве, как мы видѣли, свои поправки, а потом перестал дѣлать и это. Во всяком случаѣ, эта организація вполнѣ сознательно осталась только «Союзом», а не «партіей». Она и включала в себѣ настолько разнородные политически элементы, что совмѣстная практическая дѣятельность становилась все болѣе затруднительной. Отдѣльныя группы «Союза» были к тому же различно настроены; в Петербургѣ, в общем, они были болѣе радикальны, нежели в Москвѣ. А именно в Москву меня тянула работа кругов, мнѣ болѣе близких. Эта политическая пестрота отразилась уже на самой «программѣ» Союза, включившей в себя лишь то «общее, на чем объединились все группы», и оговорившей, что ея «рѣшенія могут считаться обязательными лишь постольку, поскольку политическія условія останутся неизмѣнными». «Нѣкоторыя рѣшенія» были, в виду этого, намѣренно «оставлены временно открытыми», другія признавались «условными», как и полагается «для всякой политической программы, преслѣдующей цѣли реальной политики». Все это было очень благоразумно, ибо «политическія условія» непрерывно мѣнялись с возростающей быстротой и, слѣдовательно, отдѣльныя группы могли считать себя в своем очередном поведеніи сравнительно свободными. А до «реальной политики» было еще далеко. Различія взглядов, болѣе или менѣе крупныя, выступали на сцену только тогда, когда наступал момент для опредѣленных политических дѣйствій, т. е. не раньше превращенія части членов Союза в политическую партію. В началѣ 1905 г. это превращеніе только еще начиналось.

Другое дѣло — тактика Союза. Здѣсь вообще нельзя было дать никаких обязательных общих директив. Событія не ждали,

и развитие их, естественно, передвигало тактическія установки влѣво, т. е. давало перевѣс наиболѣе лѣвым и активным элементам Союза. Это сразу же сказалось послѣ ноябрьскаго с'ѣзда земцев 1904 года — в порядкѣ осуществленія его постановленій. В «Программѣ» Союза требованія с'ѣзда развертывались далеко влѣво за предѣлы земских одиннадцати пунктов, приближаясь к будущим формулам партіи народной свободы. Но главное полѣвнѣе сказалось именно в тактикѣ популяризаціи этих, развиваемых в радикальном смыслѣ постановленій. В мое отсутствіе проведена была предпринятая Союзом в этом духѣ кампанія «Банкетов». В ней уже принят был и осуществлен т. наз. «явочный порядок» выступленій, а настроенія и рѣчи совершенно не считались с таковыми-же земской среды. Обнинскій, будущій лѣвый кадет, в составленном им текстѣ к напечатанной за-границей книгѣ «Послѣдній Самодержецъ», очень мѣтко характеризует декабрьское настроеніе кампаніи банкетов, как «крики измученных людей, об'единявшіе разные круги населенія скорѣе по чувству, нежели по разсудку». «Получалась иллюзія полного единодушія русскаго общества; смѣшивалась общая ненависть к чиновничеству с единством политических и соціальных идеалов». «Общество, видимо переучитывая свои силы, набиралось смѣлости». В руках энергичных организаторов выступленія этого рода получали характер «симуляціи наличности революціи, бывшей на самом дѣлѣ только в зародышѣ». То же самое настроеніе отразилось на профессиональных с'ѣздах начала этого года. Оно повліяло отчасти и на тон, и на содержаніе резолюцій земских собраній и городских дум.

4 февраля 1905 г. от бомбы Каляева погиб московскій ген.-губернатор в. к. Сергій Александрович. А 18 февраля, как бы в отвѣтъ, появился лицемѣрный рескрипт на имя замѣстителя Святополка-Мирскаго, Булыгина, о том, что в «неустанном попеченіи об усовершенствозаніи государственнаго благоустройства», имп. Николай «вознамѣрился отнынѣ с Божіей помощью привлечь достойнѣйших, довѣріем народа облеченных, избранных от населенія людей к участію в предварительной разработкѣ и обсужденіи законодательных предположеній, ... при непремѣнном сохраненіи неизбѣтельности основнх законов имперіи». «Явочному порядку» стихійных общественных выступленій было противопоставлено секретное циркулярное распоряженіе министра вн. дѣл «не

препятствовать существующим общественным и сословным учреждениям» и т. д. «подвергать своему обсужденію предположенія по вопросам, касающимся усовершенствованія государственнаго благоустройства» и т. д. Несмотря на всё оговорки циркуляра, ставшаго скоро извѣстным, общество приняло это за разрѣшеніе обсуждать публично конституціонные вопросы, а полиція совершенно растерялась перед общественным напором и перед правительственными противорѣчіями. «Намѣреніе» самодержца совершенно не отвѣчало общественным требованіям; тѣм не менѣе, открылась какая-то щель, через которую стало возможным свободнѣе чѣм прежде протаскивать обсужденіе основных вопросов дня, не подвергаясь немедленным преслѣдованіям и запретам. Общество получило возможность превратить установившуюся уже привычку публичных собесѣдованій на политическія темы в своего рода захватное право.

Но кромѣ права публичнаго слова в том же явочном порядкѣ отвоевывалось и право созданія общественных организацій. В своем постановленіи 20 октября 1904 г. (т. е. до ноябрьскаго земскаго с'ѣзда) Союз Освобожденія рѣшил «начать агитацію за образованіе союзов адвокатов, инженеров, профессоров, писателей и других лиц либеральных профессій, организацію их с'ѣздов, выбор ими постоянных бюро и соединеніе этих бюро как между собою, так и с бюро земских и городских дѣятелей, в единый Союз Союзов». Агитація эта прошла еще болѣе блестяще, чѣм банкеты, и имѣла еще болѣе прочное и длительное послѣдствіе: созданіе первой в Россіи формы открытых политических партій. Но к этому процессу еще придется вернуться.

Такое было состояніе той части политической среды, в ближайшем контактѣ с которой я очутился, вернувшись в Россію в апрѣлѣ 1905 г. Естественно, что контакт этот всего скорѣе установился у меня с лѣвыми конституціоналистами-земцами, и что именно их политическая дѣятельность заставила меня все чаще уѣзжать из Петербурга в Москву.

Я не был на моей родинѣ, в Москвѣ, если не считать переѣзда с вокзала на вокзал по дорогѣ из одной ссылки в другую, из Рязани в Болгарію, дѣлхъ десять лѣтъ, с 1895 по 1905 гг. Переѣзжая впервые с Николаевскаго вокзала к Никитским воротам, гдѣ пріютил меня адвокат М. А. Мандельштам, я был поражен новым видом, какой приняла в промежуткѣ Бѣлокаменная. Это впечат-

лѣніе укрѣпилось и расчленилось, по мѣрѣ дальнѣйшаго знакомства, в слѣдующіе мои прїѣзды. Одна новая черта этого внѣшняго вида московскихъ улицъ особенно удержалась в моихъ воспоминаніяхъ: перемѣна в духѣ архитектурнаго строительства. Попытки реставраціи и использованія древнихъ русскихъ архитектурныхъ формъ XVI и XVII вѣковъ, которыми я кончалъ исторію русской архитектуры в своихъ «Очеркахъ», повидимому, исчерпали себя и приходили къ концу. Лозунгомъ становился и здѣсь, какъ в другихъ областяхъ искусства, выходъ изъ тѣсноты «псевдо»-національной традиціи в широкій космополитическій «Міръ Искусства» с его богатой сокровищницей историческихъ стилей. Замѣтную струю при этой перемѣнѣ представляло возвращеніе къ античному классицизму в стилѣ древняго ренессанса Палладіо (напр., особнякъ Тарасовыхъ на Спиридовкѣ). Но еще ярче выдѣлялась открывавшаяся свобода выбора любого стиля по курсу заказчика и по фантазіи исполнителя. Выборъ облегчался появленіемъ в Москвѣ меденатовъ новаго типа: новаго поколѣнія богатаго московскаго купечества.

Среди старыхъ барскихъ дворянскихъ особняковъ ампириаго стиля на московскихъ улицахъ и переулкахъ выросли многообразныя репродукціи разновременныхъ европейскихъ достиженій. Тотъ же самый Иванъ Абрамовичъ Морозовъ заказывалъ на Спиридовкѣ замокъ в готическомъ стилѣ, а на Воздвиженкѣ строилъ другой дворецъ — в стилѣ португальскаго Возрожденія. Его братъ Михаилъ возводилъ на Смоленскомъ бульварѣ свой дворецъ с классическимъ фасадомъ и с декорированіемъ каждой комнаты внутри в стилѣ одной изъ историческихъ эпохъ. Рано скончавшійся Михаилъ Абрамовичъ былъ любителемъ-историкомъ. А то вдругъ в ряду знакомыхъ старыхъ зданій выросла на улицѣ маленькая бездѣлушка в духѣ самоновѣйшаго барокко с изломанными линіями, покрытыми обильной внѣшней декоративной лѣпкой. Явно, здѣсь отразилась смѣна поколѣній в рядахъ купеческой аристократіи, близко напоминавшая мнѣ ту, которую я отмѣтилъ выше в Соединенныхъ Штатахъ. Тутъ проявился такой же ростъ культурности, — разнообразіе свободныхъ призваній — и вкусы *fin de siècle*. Къ одной такой личной встрѣчѣ в новой для меня Москвѣ мнѣ придется еще вернуться.

Разумѣется, мои первыя впечатлѣнія не ограничивались московскими улицами. Но на первое время в университетскихъ, журналистскихъ и политическихъ кругахъ, наиболѣе мнѣ близкихъ, я боль-

ших перемен не замѣтил. Нѣсколько опустѣлъ тот наш московскій литературный и профессорскій круг, который так незаслуженно-карикатурно и злобно изображен потом Андреем Бѣлым. В нем, правда, было немало смѣшного и старомоднаго, но все же это был цвѣтъ московскаго общества. Университет, журнал, газета, наука, искусство всегда занимали в Москвѣ то первое мѣсто, которое в Петербургѣ принадлежало придворным, чиновным и военным кругам. И, в общем, московская интеллигенція была этого положенія достойна. Дух либеральной оппозиціи был присущ старой столицѣ со времен Екатерины Великой, — и Москва его сохранила. Теперь этот дух начал заслоняться болѣе лѣвыми теченіями художественной, социальной и политической мысли. Студенческія волненія уже вошли в традицію, и Москва в этом отношеніи заняла даже руководящее мѣсто в Россіи. За то рабочее движеніе было гораздо замѣтнѣе в Петербургѣ. Там сосредоточивалось и идейное руководство лѣвым политическим движеніем, а центры революціоннаго движенія с их мѣстными вождями со времен подпольщины семидесятых годов были разбросаны на русском югѣ. К Москвѣ тянули земцы русскаго центра и сливались здѣсь с единомысленным интеллигентским слоем московскаго общества. Такая группировка придавала московской жизни характер гораздо большаго культурнаго и политическаго единства и внутренняго согласія, чѣм это было в Петербургѣ и на русских окраинах. Вѣроятно, с этим составом общества соединялось и извѣстное московское благодушіе, с которым здѣсь вѣрили в возможность благополучнаго исхода борьбы, не успѣвшей еще показать свои острые углы. В других мѣстах углы эти уже столкнулись в политических программах — раньше чѣм столкнуться на улицах. В Москвѣ — спокойно, научно и систематически разрабатывались законодательные проекты, рассчитанные на неизбежное наступленіе радикальной, но благоразумной и мирной реформы.

В этот круг попал и я прежде всего по приѣздѣ. Работы здѣсь было много, и работа кипѣла. Она шла, главным образом, по двум направленіям: разрабатывались вопросы конституціонные и вопрос аграрный. С первыми сближали меня мои заграничныя наблюденія над практикой свободных политических учреждений; со вторым — близкое знакомство с исторіей крестьянскаго вопроса. Работать пришлось и там, и здѣсь.

Собственно, московскіе законовѣды уже выработали текст будущей русской конституціи. Он был напечатан и комментирован в брошюрѣ, изданной за-границей редакціей «Освобожденія». Основныя черты этой программы были, конечно, извѣстны всему кругу политических единомышленников. Дѣло шло теперь о точной формулировкѣ этих идей и о внесеніи их в болѣе широкіе круги — в этой строгой юридической формѣ. С другой стороны, нужно было разрѣшить ряд спорных вопросов, оставленных пока открытыми. Разработанный ранѣе текст был пріемлем для «Союза»; теперь предстояло выработать болѣе опредѣленный окончательный текст для будущей *п а р т и и*. Этим мы и были заняты в первую голову.

В тѣсном кружкѣ, который над этим работал, собиравсь регулярно и часто, участвовали авторитетные специалисты-профессора, как М. М. Ковалевскій, С. А. Муромцев и др. Но главную рабочую силу составляли московскіе профессора — юристы новаго поколѣнія, как Кокошкин, Новгородцев и др. Здѣсь я с ними впервые сошелся ближе и получил возможность их оцѣнить — с нѣкоторым ущербом для моего собственнаго самолюбія, если бы таковое у меня было. Они знали свою науку на зубок, тогда как я приносил практическое знакомство с балканским и американским опытом. Первое столкновеніе произошло здѣсь на вопросѣ об однопалатной или двухпалатной системѣ.

Я видѣл в Болгаріи практику однопалатной системы, защищал ее для Россіи на своих многочисленных докладах и выступлениях в Соединенных Штатах и думал перенести в Россію. В сторонниках двухпалатной системы я подозревал консервативную заднюю мысль — поставить представительство класса над представительством народа. Такое предположеніе подтверждалось и тѣм, что двухпалатную систему ввела в свою программу болѣе умѣренная часть земцев. На этом вопросѣ я столкнулся с Ф. Ф. Кокошкиным и в живых спорах с ним должен был очень скоро переимѣнить свою наступательную позицію на оборонительную. Тут я впервые узнал близко моего будущаго близкаго друга и единомышленника. Не буду повторять того, что говорилось многократно о серьезных знаніях и о замѣчательном талантѣ ясной аргументаціи, которыя отличали этого выдающагося человѣка. Подчеркну только тот удивительный такт, с которым он угадывал в спорѣ настроеніе собесѣдника — или цѣлой аудиторіи, фор-

мулировал за них их собственную мысль — и при том точнѣе, чѣм могли это сдѣлать они сами, — и затѣм подвергал ее безпощадному аналитическому разбору и фактическому опроверженію. Это дѣлалось обычно в мягких и дружественных выраженіях, но в концѣ концов, помимо выясненія той доли истины, которая признавалась самим Кокошкиным в утверженіях спорщика или в настроеніях слушателей, послѣдній или послѣдніе вполнѣ отчетливо начинали ощущать свою собственную глупость.

Кокошкин был не только знающим профессором-юристом. Это была поэтическая натура, схватывающая то, что ускользало от других, и сводившая вещи, казавшіяся непримиримыми, к гармоническому единству. С ним невозможно было поссориться в спорѣ и трудно было не согласиться. Конечное согласіе было обезпечено, а от идейнаго спора был уже нетруден переход к политическому компромиссу. Это не значит, однако, что Кокошкин поступался своими убѣжденіями; в них он был очень стоек. Он также был человѣком компанейским и вѣрным другом. Раз сговорившись, он твердо защищал условленное. Но он был особенно цѣнен своим даром схватывать вопрос в цѣлом и дѣлать из него наиболѣе вѣроятные выводы для будущаго. Впослѣдствіи, когда я стал передовиком «Рѣчи», а Кокошкин писал передовицы в «Русских Вѣдомостях», я всегда с особым интересом ждал вчерашняго номера московской газеты, чтобы провѣрить свои сегодняшнія соображенія, — и особенно радовался, когда находил в «Русских Вѣдомостях» ту-же тему и одинаковую трактовку ея. Между нами создалось таким образом какое-то особое взаимное пониманіе, какое, в тѣх же предѣлах и с таким-же характером, мнѣ кажется, не повторялось в других аналогичных случаях моей жизни. И его варварское убійство большевиками принесло мнѣ глубокое горе. Одной солдатской пулей так легко уничтожить тонкую и хрупкую организацію, вѣнец творенія; а сколько поколѣній пужно для ея созданія. Архимед и варвары: исторія повторяется...

Относительно другого капитальнаго вопроса политическаго міровоззрѣнія — вопроса о всеобщем избирательном правѣ, — у нас, конечно, спора не было — не столько даже по безспорности темы, сколько по бесплодности ея обсужденія, когда принятіе было предрѣшено. Но мотивы признанія у нас, вѣроятно, были различны. Кокошкин подходил к принятію всеобщаго избиратель-

наго права, так сказать, а пріори, а я — а постеріори. Опираясь на тот-же болгарскій опыт, я не считал всеобщаго избирательнаго права опасным для Россіи; но в нем находил и необходимыя поправки к функціонированію этой избирательной системы — в особенности именно в тот переходный період, когда населеніе не подготовлено к политическим выборам. Борьба политических партій в этот період принимает, правда, нездоровый характер и правительство этим пользуется. В частности, в царском правительствѣ того времени — и особенно у Витте — существовало убѣжденіе, что всеобщим избирательным правом можно воспользоваться, чтобы провести в палату «сѣрых» крестьян, которые тогда считались вѣрными царю, тогда как дворянство, выдвинувшее из своей среды либералов и «красных», было политически заподозрѣно. Для меня было очевидно ошибочность этого расчета.

При п р я м ы х выборах — и при больших, по необходимости, избирательных округах — можно было считать обеспеченным выбор интеллигентскаго и политически подготовленнаго состава представителей. Тѣмѣ связать выборы с деревней можно было только при помощи д в у х с т е п е н н ы х выборов, и, естественно, что умѣренные земцы вносили этот корректив, разсчитывая на свое вліяніе на крестьянское населеніе. Правительство, как извѣстно, при помощи интеллигента-ренегата С. Е. Крыжановскаго, пошло еще дальше и ввело четырех- и пяти-степенные выборы, разсчитывая, в свою очередь, на прямое воздѣйствіе на крестьян и на сельское духовенство со стороны им же поставленных властей. Расчет был ловкій; он отчасти и оправдался. Но даже и эта многостепенность и этот дурной избирательный закон не помѣшали вліянію на крестьянство, а отчасти и на духовенство, крайних политических и соціальных воззрѣній. Проигрывали от правительственных ограниченій, воздѣйствій и репрессій только умѣренныя политическія теченія, которыя правительство не без основанія считало для себя особенно опасными. Вѣдь они хотѣли настоящей к о н с т и т у ц і и и правового порядка, т. е. перемѣны режима в самой его внутренней основѣ.

В том же апрѣлѣ, когда шла оживленная работа комиссіи в области конституціонных вопросов, начиналась и серьезная разработка основ аграрнаго проекта. Если там проявлялся, главным образом, *р а з у м* будущей партіи, то здѣсь большая роль принадлежала и эмоціям. Я не употребляю слова: страсти, так как

и здѣсь кругъ единомышленниковъ состоялъ изъ людей болѣе или менѣе умѣренныхъ взглядовъ. Уже самая задача — провести радикальную земельную реформу мирнымъ путемъ — диктовала эту умѣренность и твердое намѣреніе остаться въ рамкахъ закона. Но всѣ, конечно, чувствовали, что здѣсь мы вступаемъ на вулканическую почву, гдѣ сталкиваются противоположные соціальные интересы и ведется глухая борьба, легко переходящая въ открытыя столкновенія и не считающаяся ни съ законами, ни съ властями. В нашей средѣ этого рода разногласій, конечно, не существовало. Дворяне-землевладѣльцы — они же и земцы, пришедшіе въ наши ряды, правда, немногочисленные, — относились къ земельному вопросу съ поразительнымъ самоотверженіемъ и готовностью къ жертвамъ.

Идея парцелляціи крупныхъ земельныхъ владѣній была уже не нова въ Европѣ: на ней уже начинали мѣстами строить и новое аграрное законодательство. Самою собою разумѣлось при этомъ, что рѣчь идетъ не о грабежѣ и не о «черномъ передѣлѣ», а об отчужденіи земельныхъ имуществъ по «справедливой» оцѣнкѣ, — отнюдь не построенной на капитализаціи тогдашнихъ чрезмѣрно высокихъ арендныхъ цѣнъ. Тѣмъ не менѣе, и въ этихъ рамкахъ оставалось мѣсто для значительныхъ разногласій. В составѣ нашей комиссіи представителями относительной лѣвизны были, съ одной стороны, профессорскіе элементы, построенія которыхъ иногда грѣшили доктринерствомъ, а съ другой, — представители т. наз. «третьяго элемента»: земскіе статистики и служащіе. Первый элементъ былъ представленъ В. Е. Якушкинымъ, моимъ старшимъ университетскимъ коллегой, специалистомъ по русской исторіи. На его диссертациі, посвященной темѣ по исторіи крестьянскаго вопроса, мнѣ пришлось выступить въ качествѣ оппонента: диссертациія была не изъ сильныхъ. Аграрный радикализмъ былъ у Якушкина своего рода семейной традиціей — по наслѣдству отъ декабриста Якушкина, — и онъ представлялъ эту традицію съ большимъ достоинствомъ и твердостью убѣжденія. Представителемъ «третьяго элемента» былъ въ комиссіи Черненко, удивительно мягкій и симпатичный человекъ, съ болью сердца отрывавшій въ крайности клочки отъ своего цѣльнаго взгляда на задачи реформы. Я лично не зналъ деревни по собственному опыту — и уже поэтому не могъ принадлежать къ группѣ инициаторовъ въ вопросѣ. Но съ общими рамками его рѣшенія я былъ вполне согласенъ.

Помню, что въ томъ-же апрѣлѣ мнѣ пришлось предсѣдатель-

ствовать в одном из засѣданій комиссій в Москвѣ на докладѣ проф. Мануилова в «португальском» замкѣ Морозовых, гдѣ хозяйкой была хорошо извѣстная всей московской интеллигенціи Варвара Алексѣевна Морозова. Это был удивительный человекъ по своей дѣятельной энергіи и готовности служить благому общественному дѣлу. В ней все, от скромной внѣшности и непритязательности костюма до созданнаго ею, среди этого великолѣпія, личнаго антуража свидѣтельствовало о глубокой вѣрѣ в общественный идеал прогресса, в необходимость «сѣять разумное, доброе, вѣчное» и тѣм заслужить «спасибо сердечное» русскаго народа. Ея ментором и другомъ был В. М. Соболевскій, с 1881 года редакторъ, а потомъ и соиздатель «Русскихъ Вѣдомостей», носитель тѣх-же стремленій семидесятихъ годов, которыя в этомъ видѣ казались уже пережиткомъ среди поколѣнія начала XX вѣка. Идея «служенія», исполненія «долга» передъ народомъ уже не служила регулятивной идеей для этого поколѣнія, движимаго скорѣе идеей «сверхчеловѣчества». До ближайшаго ко мнѣ круга дѣятелей, о которыхъ только что упоминалось, эта идея еще не дошла — или дошла в иномъ преломленіи, менѣе «модерномъ». И в особнякѣ В. А. Морозовой на Воздвиженкѣ люди нашего типа чувствовали себя, какъ у себя дома. Многочисленные собранія московскихъ «либераловъ» по политическимъ вопросамъ находили здѣсь вѣрное убѣжище.

С этимъ помѣщеніемъ связано у меня и другое воспоминаніе — о возбудившемъ тогда большой шумъ в московскомъ обществѣ моемъ спорѣ с А. И. Гучковымъ по національному вопросу — точнѣе, по вопросу о польской автономіи. А. И. Гучковъ былъ моимъ младшимъ товарищемъ по университету; мы съ нимъ встрѣчались ближе в историческомъ семинаріи проф. Виноградова, для котораго Гучковъ готовилъ докладъ по гомеровскому вопросу. Мы не очень понимали значенія этой темы, которая казалась намъ уже запоздавшей, но относились съ почтеніемъ къ трудолюбію и начитанности будущаго докладчика. Однако же, А. И. оказался человѣкомъ слишкомъ непосѣдливымъ для продолжительнаго углубленія в гомеровскія студіи. Онъ сперва уѣхалъ отъ насъ в Берлинскій университетъ, а оттуда попалъ в Южную Африку — защищать буровъ отъ англичанъ. Онъ уже в Берлинѣ проявилъ свой боевой темпераментъ студенческой дуэлью, в которой секундантомъ довелось быть нашему общему другу, Жюлю Легра, будущему профессору в Дижонѣ и Па-

рижѣ и автору недавней книги о «Русской душѣ», гдѣ были особенно подчеркнуты противорѣчія русскаго характера.

Спор у нас с Гучковым вышел очень горячій и послужил позднѣе первой чертой водораздѣла между кадетами и октябристами. Надо напомнить, что как раз в тѣ дни, под вліяніем разыгрывавшагося в Россіи конституціоннаго и революціоннаго движенія, часть польскихъ политическихъ теченій переходила отъ позиціи полной непримиримости и требованія независимости къ компромисснымъ рѣшеніямъ, съ цѣлью участвовать в общей русской политической борьбѣ и воспользоваться ея результатами. Польскія требованія — даже в предѣлахъ одних и тѣхъ же партій — мѣнялись в связи съ колебаніями шансовъ этой борьбы, съ ея успѣхами и неудачами. В Москвѣ эти настроенія отражались в совмѣстныхъ русско-польскихъ сѣвѣщеніяхъ в особнякѣ А. Р. Ледницкаго, в Кривоколинномъ переулкѣ. Черезъ нѣсколько дней послѣ ноябрьскаго земскаго с'ѣзда, тамъ состоялось 12 (25) ноября при участіи видныхъ поляковъ, а съ другой стороны Муромцева, Скалона, Гольцева, Николая Гучкова и кн. Петра Долгорукова, первое русско-польское соглашеніе, за которымъ послѣдовалъ 7 (20) апрѣля русско-польскій с'ѣздъ в Москвѣ. «Насколько единодушно стремленіе къ автономіи Царства Польскаго», говорилъ тамъ Ледницкій, «настолько-же единодушно пониманіе необходимости сохраненія государственнаго единства съ Россіей, и такъ же единодушно опредѣленіе границъ Ц. П. в существующихъ теперь предѣлахъ. Никто не думаетъ и не говоритъ о границахъ старой Польши; рѣчь идетъ только объ этнографическихъ границахъ». Это было очень хрупкое и временное настроеніе; его надо было закрѣпить; этимъ об'яснялась и моя горячая защита пріобрѣтенной нами позиціи, составлявшей максимумъ уступокъ съ нашей стороны и минимумъ требованій — съ польской. А. И. Гучковъ съ этимъ не желалъ считаться, ссылаясь на «органичность» своихъ «почвенныхъ» убѣжденій, которымъ противопоставлялъ — тогда и потомъ — мою «книжность». Такъ на національномъ вопросѣ столкнулись два типа политической мысли, соотвѣтствовавшіе двумъ политическимъ направленіямъ, готовымъ разойтись в разныя стороны. Вскорѣ дѣло убѣжденія превратилось в дѣло политической игры.

Комиссіонное обсужденіе основныхъ вопросовъ дня — конституціоннаго, аграрнаго и національнаго — составляло только введеніе в широкій фарватеръ общей политической борьбы. Ея кана-

лами служили тогда земские и городские с'езды, ставшие с апреля периодическими, и — первообраз будущих политических партийных объединений — профессиональные союзы, готовые слиться в один. К этим формам борьбы — в предѣлах моего участія в них, — мнѣ и надо теперь перейти.

П. Милуков